

Неизвестные страницы жизни Ирины Макаровой-Эфрон

Category: Kitarcy

написано kitarcy | 24 января, 2025

Неизвестные страницы жизни Ирины Макаровой-Эфрон НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ИРИНЫ МАКАРОВОЙ-ЭФРОГ

«В 1917 г. Цветаева родила дочь Ирину, которая умерла от голода в возрасте 3 лет в приюте в Кунцево.»

Марина Цветаева, биография.

«Я знаю правду! Все прочие правды – прочь!»

Марина Цветаева.

Евдокия Макарова, которую все и всегда звали Дуней, была женщина крепкая, что называется, грубо сколоченная, с грубым же низким голосом и чудовищно распухшими и оттого ставшими, как у слона, ногами. Сама Евдокия пеняла на водянку, которую незнамо где подхватила, хотя доктор, изредка наезжавший в детский приют, где она работала нянькой, объяснял это нервами и недоедом. Так ли, этак ли, но никакие башмаки на нее не налазили. Чтобы не ходить на босу ногу по осенней грязи или по ледяному приютскому полу, она у сапог, оставшихся после мужа, отрезала голенища и соорудила себе опорки, которые обматывала вокруг щиколоток бечевой.

Глядя на унылое и какое-то линялое, будто от долгой стирки, лицо Евдокии, возраст ее определить было трудно. Ей можно было дать тридцать, сорок, но с тем же успехом и пятьдесят лет. На самом деле ей не было и тридцати, и еще недавно в родной деревне Сетунь она считалась молодухой. Была у нее семья – муж, которого она звала Николай Иваныч, хотя он был на год ее младше, и сынок Степушка. Больше детей им бог не дал, хотя жили они как муж и жена семь лет. Да и Степушка получился квелый, золотушный, и в свои шесть лет почти не говорил и с трудом ходил на кривоватых тоненьких ножках. Зато глаза у него

были – не в отца и не в мать – огромные, небесного цвета и грустные, словно он знал что-то такое, что обычным людям неизвестно. И когда Евдокия в них глядела, то забывала обо всем и, чуть не плача от умиления, прижимала Степушку к груди и покрывала его головку поцелуями.

Однажды бабка, жившая на отшибе от деревни и промышлявшая травами и заговорами, увидев ковылявшего рядом с матерью ребятенка, сказала:

– Не жилец он у тебя, Дунька.

– Это отчего ж не жилец? Типун тебе на язык! – вскинулась Евдокия.

– Не жилец, – твердо повторила старуха. – С такими глазами скоро бог приберет...

Раньше-то в Сетуни хорошо жили. Она хоть и называлась деревней, но большинство селян трудилось на фабрике Франца Реддавея, где производились брезент и ремни, да плюс у каждого своя земля с огородом. Но война началась, и жизнь в деревне пошла несладкая, а уж когда царя свергли и большевики пришли, так и совсем худо стало. Фабрика закрылась, и наступил голод – лютый, небывалый. Тогда новая власть велела устроить в Сетуни «чрезвычайный» склад для всего уезда. Там хранились семена для будущего посева и мешки с ржаной мукой. Вот из-за этого склада и из-за самой Евдокии глупо погиб ее муж, Николай Иваныч.

Склад охраняли два бойца с настоящими ружьями, но местные мужики лаз нашли и повадились через него ходить за мукой. Только Николай Иваныч к лазу ходить отказывался, говоря, что, мол, грех это. Но от голода живот сводило, да и не могла Евдокия на сына смотреть. Тот не канючил, но так смотрел голодными глазами, что она не выдержала и сказала мужу:

– Ты б, Николай Иваныч, сходил бы с мужиками к лазу. Хоть бы мешок муки принес, мы бы как-то перемоглись.

Тот нахмурился, стал ругаться страшными словами и даже слегка ее поучил, а раньше-то за семь лет ни разу пальцем не тронул. Тем дело и кончилось. Но через три дня сговорился с мужиками и

ночью с ними воровать отправился. Насупленный ушел, даже слова Евдокии не сказал. Она едва успела вслед его перекрестить.

И вот ведь судьба! То ли бойцы, охранявшие склад, шум услышали, то ли тени заметили, но, когда мужики уже возвращались, они выскочили и стали пулять в темноту. Все, конечно, врассыпную, мешки с мукой побросали, зато домой целыми вернулись. Все, кроме Николая Иваныча. Подвернулся он под шальную пулю. Солдаты же и наткнулись на него, лежащего с дыркой в затылке.

Поубивалась Евдокия и схоронила мужа. А что тоска все сердце ей изгрызла и, пуще того, мысли, что это она самолично Николая Иваныча на смерть послала, о том никто не знал, потому что ни слезами, ни жалостными словами она той тоски выразить не умела. И осталась она одна с сынком на руках. А потом настал и его черед.

Подошла Евдокия как-то вечером к печке, где Степушка спал, чтобы проверить, не раскрылся ли во сне. А он мечется весь в жару и слова непонятные бормочет. Кинулась она к бабке-знахарке, что скорую смерть дитю напороочила. Та ей дала коры и трав целебных. Велела отварить и этим настоем Степушку поить. Авось, поможет. Соседки иногда забегали, щупали ребенку лоб, сокрушенно качали головами и выходили, часто крестясь. А иные все твердили слово «тиф» и подходить близко боялись. Но на Евдокию какое-то затмение нашло. Она часами сидела возле Степушки, поила его отваром и кормить пыталась оставшейся горбушкой. А ему все хуже становилось. Он не плакал, не жаловался, а только смотрел своими глазищами и тоненько постанывал. «Отходит, сердешный», – только и сказала забредшая в дом соседка, перекрестив его. Тут Евдокия подхватила было, обмотала исхудавшее, почти невесомое тельце какими-то тряпками, сверху накинула стеганое одеяло, и хотела к соседу кинуться и умолить, чтоб подвез ее на телеге до станции. И вдруг снова села в оцепенении на лавку, прислонилась спиной к стене, продолжая прижимать Степушку к груди и баюкать, хотя он был в беспамятстве. И не заметила, как задремала.

Когда она очнулась, за окном начинало сереть. Она не сразу

поняла, где она и зачем. А когда вспомнила, то испугалась, не уронила ли Степушку во сне. Но нет, он, укутанный в одеяльце, лежал у нее на коленях. Она привычно протянула руку, чтобы пощупать его лоб, но тут же отдернула. Лоб был холодный. И сам ребенок был холодный и окоченелый.

После похорон тоска охватила ее еще сильнее. О Николае Ивановиче она вспоминала редко, зато Степушка, вернее, его глаза, снились ей каждую ночь. И она тут же просыпалась в слезах. А наяву она словно впала в какое-то беспамятство, и как жила и что делала, что ела все это время, не помнила. Вот тогда ноги у нее и стали вдруг пухнуть.

Через несколько месяцев добрые люди рассказали, что в Кунцево, рядом с дачным поселком, открылся приют для детей-сирот. И так вдруг ее туда потянуло за сиротами ухаживать и тем тоску свою по сыночку утишить, что собралась она и в приют потащилась. Авось, там няньки нужны.

До приюта было всего-то несколько верст. Раньше она бы мигом домчалась. А теперь, с больными ногами, часа два у нее дорога забрала. Но не зря ходила. Няньки или как их официально именовали, «надзирательницы» в приюте очень были нужны. Там мало кто подолгу задерживался, хотя место считалось хлебным – няnek кормили, да они еще и подворовывали, унося домой полные кошелки. Но уж больно тяжело было там работать. Так что Евдокию взяли с радостью.

В приют тот и зайти-то было страшно – стужа, грязь, крысы да полчища тараканов. Ничего не было, даже марли, бинтов и просто тряпок для подгузников. Всё начальство крало, а за ним надзирательницы добирали, так что сиротам мало что перепадало, и ходили они исхудавшие, в чем только душа держится, и вечно голодные, и у тех, кто послабее, еду отбирали. Редкая ночь обходилась без того, чтобы с утра один, а то и два тельца не унесли, но детей в приюте с каждым днем становилось больше.

Когда Евдокия только работать начала, их было с полста – от двух до девяти лет. А сейчас уже за двести перевалило. Так что спали они на кроватях по двое, а то и по трое. Здоровые вперемешку с больными. А болезней полный набор – тут тебе и тиф, и малярия, и дизентерия. Простыни и наволочки были с прорехами, но и их не хватало. Так что сироты часто лежали просто на загаженных матрасах. Носили они все одну и ту же одежду, месяцами нестиранную. От дистрофии и неухоженности многие ходили под себя. Даже старшие. А уж маленькие чуть ли не поголовно.

Надзирательницы Евдокию недолюбливали. По одной-единственной, но веской причине. Евдокия никогда себе не брала ни кусочка от детей. Хотя никому из надзирательниц она и слова не сказала попрека, но ведь все равно неприятно...

Ее недолюбливали, но отдавали должное. У каждой надзирательницы были свои любимчики. Обычно в их число попадали те, кто почище да помилее. И им порой доставалась от покровительницы булка белого хлеба, а то и сахарок. А Евдокия больше возилась с самыми слабыми, больными, грязными, к которым и подойти жутко. Когда у нее выдавалась свободная минутка после уборки, глажки и вечной стирки (от чего руки ее стали красными и распухли почти как ноги), ее всегда можно было найти среди этих заморышей. Двоих на коленях держит, одного к груди прижимает, а остальные вокруг копошатся, и все довольны. Любо-дорого было наблюдать, как она подбрасывает этих зверьков на коленях, а они восторженно взвизгивают и лица их становятся похожи на человеческие. Или что-то тихо им шепчет, ласково гладит, а то и целует. А чаще всего поет. И ее обычно грубый и низкий голос становится вдруг выше и приятнее. Нет, что ни говори, но нянькой она была на редкость.

Однажды какая-то тетка привезла в приют двух сестер-сироток. Старшей лет семь, а младшей года три. Старшая еще ничего, а младшая – больная, недоразвитая. Вся грязная, еле ходит и мычит. Сразу видно, что долго не протянет – у надзирательниц

на это глаз наметанный. Да и сама тетка странная. Одета непонятно во что – то ли на ней пальто, то ли бушлат. И сумка кожаная на ремне. Острижена коротко, глаза оловянные, смотрит зверем затравленным. Руки у ней дергаются невпопад, а поступь твердая, ходит, будто марширует. Сразу и не поймешь, баба или мужик. Тетка сказала, что сестрам она никто – крестная, сбыла с рук, да и была такова. Сразу она Евдокии не понравилась. Снова появилась та тетка месяца через полтора. И Евдокия случайно увидела, как она сидит с обеими сестрами. В руке у нее два кусочка сахара. Она один старшей дала. Та быстро его съела. Тогда она и второй кусок ей скормила, а малАя рядом на полу сидит, а тетка на нее и не глядит.

Евдокии-то что? У нее и своих дел по горло. Но тут она не выдержала и сказала с укоризной:

– Что ж вы, дамочка, маленькую сахарком не угостили?

А та метнула на нее волчий взгляд, рукой махнула и сказала:

– Она дефективная. Все равно ничего не понимает. Выплюнет, и всё. Жалко на нее продукт переводить.

Дефективная сидела на полу и по своему обыкновению чего-то мычала. Вдруг она голову подняла и посмотрела на Евдокию. Та обомлела – глазки-то, глазки, точь-в-точь как у Степушки покойного. И такие же грустные. Что-то в этот миг внутри нее оборвалось. Тетка скоро уехала, а Евдокия вечером подошла к кровати, где лежала девочка, тихонько ее подняла, положила чистую простынку взамен мокрой, и долго около кровати стояла. С тех пор стала она за сиротой приглядывать.

Грязная, сопливая, часто ходившая под себя, а потому вонючая Ирина словно бы ничего вокруг не замечала и часами сидела в каком-нибудь темном углу на полу, тупо стучаясь об него или об стену лбом, и что-то мычала. Дети смеялись над ней, а иногда и били. Но она на насмешки и побои почти не реагировала, оживляясь лишь при виде еды, которую, кстати сказать, старшие у нее обычно отбирали. Она умела произносить всего несколько слов: «дай», «не надо», «куать» (кушать) и еще непонятное

«маина». Даже слова «мама» не было в ее обиходе.

– Да что с нее взять, с придурочной, – брезгливо говорили надзирательницы. – Вон опять замычала...

Только Евдокия, однажды вслушавшись в звуки, издаваемые Ириной, поняла, что она не мычит, а поет – все тянет какую-то грустную мелодию слабеньким, но чистым голоском.

Через полтора месяца снова приехала крестная и забрала старшую сестру с собой. «А к младшей даже попрощаться не зашла», – озлилась Евдокия. После этого она все чаще возилась с «дефективной», тютюшкалась с ней, подкармливала из своей порции и порой сама оставалась голодной, ибо у крошки был зверский аппетит, и она часто съедала всё, что было у няньки на тарелке.

Ириша теперь всюду ковыляла за ней. Куда Евдокия, туда и она. И отогнать ее было невозможно. А когда она после работы уходила домой, Ириша подходила к надзирательницам, тянула их за подол и требовательно говорила: «Дуя»

– Ишь ты, мамку свою потеряла, – смеялись надзирательницы и пытались объяснить ей, что Дуни нет, но завтра она придет. Ириша начинала плакать. А еще через пару недель, если Евдокии не было в приюте, она садилась на пол у входа, но уже не билась головой о стену, а не отрываясь выглядывала, не идет ли Дуя, а когда та приближалась на своих слоновьих ногах, бросалась к воротам, цеплялась за нее и уже не отпускала. «Ровно собачонка», – думала Евдокия, и на душе у нее теплело.

То ли словцо «мамка», услышанное от надзирательниц, то ли что другое, но стала Евдокия задумываться. И вот однажды пришла в кабинет начальницы и сказала, мол, так и так, Анастасия Сергеевна, но хочу я Иришу удочерить. Та просто оторопела:

– Ты, Дуня, сдурела? Времена нынче какие, а ты хочешь такой хомут себе на шею повесить? Да и не жилица она, сразу же видно.

– Ничего, выхожу я ее.

Но начальница ни в какую:

– Как же ты ее удочеришь? Вот крестная явится, такой скандал устроит, что мы с тобой неприятностей не оберемся. Тем более, у нее, может, и настоящие родственники есть.

– Да не приедет крестная. Не нужна она ей. А так она круглая сирота.

– Все равно от крестной надо официальное разрешение получить, а она его не даст.

– А вы ей напишите, мол, умерла девочка-то.

– Нет, Дуня, ты точно с ума сошла! Ты же меня на преступление толкаешь. Ни за что! Иди работай, а про глупости забудь.

Но Евдокия всякий день упрямо к ней ходила и так слезно умоляла, что та, в конце концов, плюнула и сказала:

– Ладно, возьму грех на душу. Но с одним условием – ты не уволишься, и девочка в приюте останется. И чтобы никому ни слова. Если крестная приедет, чтобы не узнала ничего.

Евдокия чуть ноги ей целовать не бросилась. Еще начальница даже дала ей адрес конторы, где могут выдать документ соответствующий. Евдокия на другой день отправилась в эту контору, и там ей без всякой волокиты и без лишних вопросов выдали свидетельство о том, что Ирина Николаевна Макарова-Эфрон действительно приходится ей дочерью.

Евдокия свое слово сдержала и продолжала работать в приюте, где жила ее новоиспеченная дочь. Об этом кроме нее и начальницы никто так и не узнал. Крестная больше в приюте не появлялась.

Спустя два года приют расформировали, и она взяла Иришу жить к себе в деревню. С ногами стало получше, и она нанялась на ткацкую фабрику мотальщицей. К тому времени девка совсем оклемалась, болтала вовсю. И такая ласковая, только и знает, что мамку тискать да целовать.

А еще через несколько лет, когда Кунцево к Москве присоединили, стали мать и дочь столичными жителями. В тридцатом их избу снесли, а самих расселили в большую коммуналку, где выделили аж две комнаты.

Буквы Евдокия еще кое-как разбирала, но складывать их в слова так и не научилась. А Ириша умом не в мать пошла. Она и в школе училась на отлично, а потом в институт поступила, где учительниц готовят. И характером на мать непохожа – веселая, певунья и болтушка. Подруг вокруг всегда было множество, да и парни крутились. Она ведь расцвела, ровно розан. А о страшном детстве в приюте, кажется, и не помнила уже.

Когда Иришка паспорт получила, Евдокия ей рассказала про крестную и про старшую сестру. Долго она колебалась, всё боялась, что дочка, как узнает, к ней переменится. Но ведь негоже врать и правду от нее утаивать? Все ж таки родная сестра. Ирина немного поплакала, но ничуть к Евдокии не изменилась и продолжала называть ее мамой. И Евдокии это было приятно.

В сороковом году Ириша замуж вышла. Тоже за учителя – красивого, статного и, кажется, доброго парня. А через год началась война. Иришкиного мужа в июле мобилизовали и воевать отправили. А в начале сентября она сама закончила ускоренные курсы медсестер и попросилась на фронт, куда и должна была ехать 10 сентября. Евдокия сильно переживала, но отговаривать дочку не стала, а стала всю хлопотать, готовясь к проводам. Но вышло по-другому. В августе она слегла и только сказала дочери: «Видно, время пришло помирать». Так и случилось. Евдокия легко отошла в последний день августа, успев лишь перекрестить ее и промолвить перед смертью:

– Храни тебя Бог, дочка.

По странному и удивительному совпадению в тот же самый день, 31 августа, крестная Ирины повесилась в Елабуге.

Через много лет, уже во времена оттепели, Ирина решила навести справки и тогда узнала всё о своей «крестной» и о старшей сестре. Ей даже удалось сестру разыскать, и она дважды встречалась с ней, но так и не открылась, представившись почитательницей ее и ее матери таланта.

Ирина Николаевна Макарова, похороненная и оплаканная

цветаеводами, прожила долгую и, в общем, счастливую жизнь и мирно скончалась в 2006 году в Москве в окружении детей и внуков. Ее воспоминания о двух встречах с сестрой пока еще не опубликованы.

Postscriptum: После смерти Ирины Николаевны в ее архиве были найдены стихи. Не берусь судить об их художественной ценности, но вот одно из них (дата создания неизвестна):

- **Сестре**

Штукатурка в трещинах, но получше взглядишь –
Постепенно проступит то, что ты раньше видел.
Может, век назад, полвека. А, может, вообще надясь.
Тела и лица в слегка измененном виде.

Присмотрись, ты помнишь – тот самый изгиб плеча
Червонной дамы, которой уж нет на свете.
Она все кричала, помнишь? Так и ушла – крича.
Ее пугались даже родные дети.

Вот так и мы. Сквозь трещины старых стен,
По коим мальчик в дремоте рукою водит,
Проступим, и, значит, нас не коснется тлен,
Присущий прочим предметам в живой природе.

Исаак РОЗОВСКИЙ.